

ГЛАВА 1

Так возникают горы. С такой фразой в голове я просыпаюсь. Горы возникают так и только так. Чувствую, что в уголок губ мне кто-то тычет. Что за черт! Тыкать пальцем? В меня? Открываю глаза. Это маленький мальчик... Ничего не понимаю!

— А ты спал?

— А?

— Ты спал?

Что за бред собачий! Откуда этот малец? Он снова тычет пальцем мне в щеку.

— Эй! Мальчик! Прекрати!

Он с расстроенным видом убирает свой палец, смущается. Светловолосый, в мохнатом свитере, он опускается на корточки, потупившись, теребит траву. Кажется, я был с ним слишком резок. С другой стороны, нечего тыкать в меня пальцем. Где, спрашивается, уважение к пожилому человеку? Эта современная молодежь растет как трава. И заняться ей абсолютно нечем; им ведь даже работать не приходится. Дисциплины никакой. А для родителей питание лососей в садках важнее воспитания детей. И сами они — дети, все эти взбесившиеся поколения, — вечные дети, слушающие молодежную музыку, пока их не хватит инфаркт. И до старости у них юношеский задор в крови. Немудрено, что у них случается кровоизлияние в мозг, ведь контролировать собственную кровь они не умеют. А потом, уже в доме престарелых, они окончательно впадают в детство и скачут вокруг наряженных елок точно так же, как раньше прыгали вокруг злободневных проблем. Седовласая немощь!

А мальчонка бедняжка! Неужели он сейчас заплачет? Сколько же ему лет? «Восьмой пошел»? «Скоро будет пять»? Детство

слишком далеко от меня. Я смотрю на детей из дальней дали своих прожитых лет, мне видны лишь общие черты, а не точный возраст. Старость сидит в лодке вдали от берега. Она не знает названий прибрежных гор. Между мной и мальчонкой — целый век упорного труда, копошение в словах, острые линии, которые время когда-нибудь прочтет по его лицу.

— Ты старый, — раздается из-под светлой челки. Голос у него громкий, детский — и в то же время от него веет древностью.

— А? Что?

— Ты такой старый.

— Да, — довольно раздраженным тоном отвечаю я. Ну где она... Да, а где же моя Бриндис? И почему я не в кресле?

— Но поучить меня ты сможешь, правда?

— А? Поучить?

— Да, ты же учитель?

Ну да, одну зиму я и вправду учительствовал. Кто больше не школьник — того заставляют быть учителем. На этих уроках они дали мне больше, чем я — им. А одна утверждала, что я дал ей ребенка.

— Где твой папа? — спрашиваю я.

А что же стало с тем ребенком? Ах, да, он вырос в женщину. И эта женщина работала в магазине на улице Лёйгавег*, куда я зашел сырым и темным зимним днем. Йоунина? Йоуханна? «По всей вероятности, я — отец». А потом я взял ее за руку и заметил, что руки у нее мои. Рукопожатие — два звена одной цепи. Руки она унаследовала от меня, — а по дороге от рук до головы кое-что потеряла... Стала продавщицей. Но руки у нее были проворные, и особенно хорошо у нее получалось складывать рубашки. «Простите, но, по всей вероятности, я — ваш отец. Доброго вам вечера». А потом — за шляпу. А потом — за дверь. Что наша жизнь?

— Он скоро придет. Папа сказал, что ты меня читать научишь.

* Улица в центре Рейкьявика, на которой расположено множество дорогих магазинов и кафе.

Что за бред! Кто этот мальчик? И где я, в конце концов? Я на ко-согоре. Лежу на высоком склоне, обложенный сухой травой; когда я приподнимаюсь на локте, она издает шелест, как пленка в телестудии, когда собеседник молчит в ответ на твой вопрос. Здесь у них осень. Хотя нет: у травы какой-то зеленоватый оттенок; а вот здесь стог на лугу, белый домик, а за ним — озеро, а на озере два лебедя... кажется мне: я без очков. А дома престарелых нигде не видать. Местность незнакомая. Перед глазами раскинулась долина — одна из тех исландских горных долин, которые мы обычно наблюдаем только вдаль. Разве слова «дол» и «даль» не произошли от одного корня? Тянусь за самопишущей ручкой; она на своем месте, во внутреннем кармане. А вот другие карманы подкачали: записной книжки в них не оказалось. Не забыть: «дол» и «даль» — однокоренные.

— Я так хочу научиться читать!

— А? Что? Читать?

А я читать никогда не умел. Я писал. Книги. Небо бело, как простыня. На небе ни облачка, и в то же время пасмурно. Как говорят французы, «couvert». Какая-то несуразная местность. И на всем лежит печать какой-то уму непостижимой обескровленности. В этой мизансцене — ни движения к цели, ни событий. Как будто ее набросал начинающий писатель, сидящий в отеле за границей. Птиц не слышать. Но что здесь делаю я?

— А где Бриндис? — спрашиваю у мальчугана.

— Бриндис?

— Ну, медсестра. И где мое кресло?

— Кресло? Какое кресло?

— Ну, мое инвалидное кресло... кресло-каталка... что за бред собачий...

— Каталка? — похоже, мальчик никогда раньше не слышал этого слова. — А что это? А оно само катается?

Трава. Эти травинки. При прикосновении они громко шелестят, как бумага, а на вид грубо сработаны, будто для декорации в каком-нибудь серьезном театре. Похожи на исписанные стержни. Здесь с каждой травинки каплет бездуховность.

Я роняю голову в бумажную траву. Куда подевалась Бриндис? Обычно она не увозит меня так далеко от дома престарелых. А вдруг меня оттуда забрали? А вдруг я в какой-нибудь поездке в деревню? Или на пикник? А где тогда все люди? И где она... она... господи, как же ее зовут?!

— А у тебя есть это самое... кресло-каталка?

Ach so^{*}. Я, оказывается, забыл, как зовут мою жену! По лодыжкам пробегает холодок, а голова чудовищно мерзнет. В Исландии я всегда мерз. Хотя это и не сравнится с тем, как я мерз в ту зиму на Сицилии: у них там совсем нет печей. А когда я наконец выписал из дома примус, поработать спокойно мне уже не давали. Итальянцы — такой любопытный народ... А почему я без пальто? А шляпа моя где?

— А ты сюда на нем прикатился?

Ну что за ерунда!

— Где ты живешь? — спрашиваю я; не оттого, что мне интересно, а чтобы уши отдохнули от болтовни.

— А вот тут. С папой и бабушкой. А тебя как зовут?

— Я... ну...

Этого только не хватало! Я забыл собственное имя! Бред какой-то! А как так вышло, что я в ботинках без носков?

— Ну, и с мамой ты, наверно, тоже живешь?

— Нет. Она умерла.

— Правда? Как грустно.

— Мне не было грустно, я тогда был еще совсем глупый. А сестрица Виса загрустила. И бабушка тоже. А папа рассердился.

— Рассердился? Как так?

— Ну, он сказал, что у него похороны уже в печенках сидят.

— Да? А от чего она умерла?

— Она все время рожала мертвых детей. Ей надо было быть с ними.

Ach so.

Мудрейший мальчуган. Жуткая долина. Я провожу рукой по своему почти лысому черепу и вздыхаю... Без имени, без носков.

* Ах, вот как! (нем.)

Дряхлый старик под мировой простыней. Скоро все это пройдет. Небеса надо мной перестанут вращаться, и где-то высоко над ними кто-то перекрестится. Человек умрет — и все умрет вместе с ним. Горы станут долинами, долины — заливами, а потом заливы обмелеют. Весь мир, все звезды, семьсот солнц — будут стерты, как схема Вселенной на зеленой доске, которую рисовал для нас пастор Якоб. В конце урока все планеты превратились в белую меловую пыль на губке в его руке. Ой, кажется, я это уже рассказывал. В своем первом рассказе. Да, в первом. Правда, его читали от силы семь человек. Но все равно там хорошо получилось... Ах, сколько с тех пор минуло! Я опять приподнимаюсь на локте. Голова у меня по-странным легкая. Как будто из нее все повывлетало.

— А у Герды с Болота есть велосипед, — говорит он, срывает одуванчик, дует на него. Одуванчик похож на мою голову. — Его для нее изобрел Йоуи.

И все-таки в этом мальчонке есть какое-то очарование. Это надо признать — несмотря на то что он рукозуй, а язык у него без костей. Я кладу ручку на место во внутренний карман и извлекаю оттуда очки. Ах, мои старые добрые очки! Надеваю их. Теперь его лицо лучше видно. И мои мысли вокруг него, словно трепещущие волосы. Очевидно, здесь штиль. Мальчуган светловолос; его голубые глаза искрятся, щеки у него румяные, а губы под маленьким носом постоянно извиваются как червяк — червяк на землистом лице. Деревенский мальчишка.

— Йоуи?

— Да, он изюбре... изобретатель. Он изобрел нам электричество, а теперь хочет изобрести, как найти папе новую жену. У него семнадцать машин. И он под ними спит.

— Да? Ну-ну... — произношу я и пытаюсь самостоятельно встать на ноги. Это мне не удастся — как и вчера не удавалось.

— А вот и Мордочка.

Тяжелое дыхание с невероятной скоростью движется вверх по склону и обдает нас, особенно меня. Ничего себе! Слюнявый язык как швабра — по очкам. Собаки всегда чересчур буйные. И жизнерадостные. Это черная длинномордая собачка, в роду

у которой, должно быть, побывали все кому не лень; хоть порода нечиста, зато радость у нее самая чистая: в долине появился новый запах! Она слишком резко вдыхает его, словно подросток — нюхательный табак, и отпрыгивает в сторону с громким чиханием, валяется по сухой траве, как в старые времена катались завшивевшие псы, в конце концов встает, чешет за ухом и лает в сторону дома: дает нам знать, что хозяин идет сюда. Отсюда он кажется черной точкой на дне долины. Голова втянута в плечи, он размашисто шагает по лугу. Мальчик оглядывается.

— Папа идет, — говорит он на удивление усталым тоном и смотрит на свой собственный палец, ковыряющий дерн.

— А как его зовут?

— Хроульв.

Собака возвращается к нам, шелестя сухой травой, ложится рядом со мной, засовывает морду под полу пиджака и дважды виляет хвостом. Дважды. Мои глаза ловят это зрелище. Дважды.

— Что?

— Хроульв. Его зовут Хроульв. Папу моего.

Хроульв... Хроульв? Мужчинам не к лицу перешагивать через изгороди. На тот миг, когда колючая проволока оказывается между его ногами, этот рослый мужик становится по-женски беззащитен, — но, переправившись через изгородь, вновь приходит в себя, снижает скорость и пробирается по кочкам, словно джип на пониженной передаче. Над домом поднимается белый дымок. А надо мной поднимается белый страх перед этим приближающимся человеком. Необъяснимый страх. Я вновь пытаюсь вскочить на ноги. Зачем я это делаю? Что вообще произошло? Меня тут забыли? Какая-то дурацкая поездка из дома престарелых на автобусе — и меня забыли на незнакомом склоне? Как некрасиво! И почему я без носков? Я подтягиваю брюки, насколько позволяют мои слабые силы. Да, что верно, то верно. Я БЕЗ НОСКОВ! Что это вообще такое?!

— Ты почти такой же старый, как бабушка. А ей нужен новый дедушка, — говорит мальчик с детской непосредственностью. — Она уже пятьдесят лет ни с кем не спала.

Ach so. Собака вскакивает и наостряет уши — эти огромные уши, обращающие любой событийный ряд в звукоряд, — и трусит вниз по склону навстречу хозяину. Он приближается. Ноги у него колесом, за ушами волосы. А между ушами — борода. Мне внезапно расхотелось, чтоб этот человек мне помогал. Нет, он меня убьет. Отчего я так боюсь его? Мой старый страх перед фермерами? В нежном возрасте настрадался от фермеров и с тех пор ничего так не боялся, как исландского хуторянина. Гестаповец в галошах. Как задиристый петух каждое утро в шесть часов: «Ну, пацан! Подымайся!» — а потом дерг за ухо! Я читал свои стихи коровам, а если с ними что-то случалось — винили меня.

Мальчик подбежал к отцу:

— Папа, папа! Я его нашел! Он совсем старый!

Хроульв. Он снимает пропитанный потом картуз; его лысая макушка белёса, его свитер когда-то был темно-синим, а теперь просто темный; брюки лоснятся. Он — Хозяин Хутора. С большой буквы. Эта лысина. Этот нос. Эти брови. И борода. Пряди на затылке и щетина за ушами бесцветны, зато густая борода рыжая. И этот светло-серый оттенок кожи, как у многих рыжеволосых людей.

Мое сердце стучит, словно мотор. Черт побери! Не нравится мне, что я наварлся на этого человека.

— Ну дак!.. — обращается он к мальчику, а потом делает последние шаги ко мне. Гестаповец в галошах. Он останавливается, тяжело отдышавшись, и пристально смотрит мне в глаза. Его левый глаз неподвижен.

ГЛАВА 2

Ну вот... А надеть носки было бы все же неплохо. Здешнее безветрие такое холодное. А почему это я оказался без носков? Ей-богу, в толк не возьму! И как вообще это все так вышло? Куда это я попал? В руки хуторянина из долины. Ах, этот хуторянин! Он поднял меня как перышко. Я стал совсем невесомым. Стесняюсь, как школьница, своих голых щиколоток, которые торчат из его объятий, словно выкинутые морем щепки, бледные, как мертвецы, и болтаются на холодном воздухе. Ну, я им покажу, как старого человека забывать за городом! Да еще без носков! Я бы предпочел, чтоб меня забрала сама смерть, чем угодить в эти объятия! А может, это как раз смерть и есть? Вид у него вполне суровый. Он подошел ко мне, этот Хроульв, пристально и зло посмотрел на меня, словно питал отвращение именно к этому виду твидовой одежды, и сказал:

— День добрый.

— Добрый день, — поздоровался я в ответ.

— И куда же ты направлялся?

— Я... у нас поездка была, и они, наверно... наверно, меня забыли.

— Да ну? Поездка? Из Фьорда?

— Папа, а он разве не учитель? — подал голос мальчик.

— Нет, я... а где... как называется эта долина?

— Это у нас Хельская* долина, — ответил хуторянин тоном, не оставляющим сомнений в том, кто хозяин этой местности. Затем он откашлялся и сплюнул черной табачной слюной. Затем взгромоздился на кочку спиной ко мне — на его плечах покоились целых полвека — и окинул взором свои владения. Собака присела

* Долина названа по имени Хель — царства мертвых в древнескандинавской мифологии, в которое попадают люди, умершие от старости и болезней, и где царят стужа и голод.

рядышком, наострила уши, принимая сообщение с горы по ту сторону озера: там наверняка где-нибудь среди валунов разбойничает лисица, — и протягивала это сообщение нам, а затем задрала морду и стала ждать, когда ветер донесет запах.

— Он потерял коля... Он свое кресло потерял, — подал голос мальчик с ближайшего холмика.

— Во как! — фыркнул хуторянин.

— А где... где, позвольте спросить, расположена эта ваша Хельская долина? — спросил я.

Хроульв сорвал травинку, повернулся ко мне в профиль — обрывистый утес со шлейфом табачного дыма — и заговорил, обратившись к каменистой равнине слева от него:

— Ты из богадельни?

— Эээ... да, — ответил я, не решаясь пускаться в детальные описания санатория, тем более что его название и месторасположение я не помнил.

— Да-да, — сказал он сам себе и посмотрел на небо, потом долго сидел неподвижно, в задумчивости. Хуторянин. Последний в мире человек, который все еще интересуется тем, чем занимается Бог. Облачная крышка начала опускаться за край горы с правой стороны.

— Ну, на склоне торчать смыслу нет, ху, — вздохнул он потом, поднялся, подошел ко мне. Лежа у его ног, я окончательно превратился в костлявую старуху в костюме-тройке и круглых очках — и тут из меня вышло, словно воздух из шарика:

— Не... не беспокойтесь. За мной непременно заедут.

— Ну, будем надеяться, — сказал он и склонился надо мной во всей своей сенно-табачно-свитерно-пахнущей мощи, подсунул под меня руки, без усилий поднял, а потом пошел вниз по склону. Со мной на руках. Все это было проделано весьма буднично, словно для него не было ничего привычнее, чем бродить по горным склонам в это время дня и забирать оттуда паралитиков. Я сделал вид, что так и надо, и ни о чем не стал спрашивать.

Собака побежала за нами, а также и мальчик, не перестающий болтать.

— А где он будет спа... спать, папа? Его с бабушкой положат? Бабушке... ей нужен новый дедушка. А ведь он, наверно, сможет научить меня читать, папа!

Но в его голосе не было прежней уверенности в себе; он немного побаивался отца и все же не мог скрыть радости. Радости, что нашел в своих владениях человека. В его устах это звучало так, словно в этой долине отыскивали источник с горячей водой. Я не уверен, что его отец считает так же. Я вообще сомневаюсь, что ему интересна горячая вода. Он напоминает мне тех людей из моего детства, у которых в домах вечно стояла холодрыга и которых ничего не могло согреть, кроме похабного рассказа да бутылки бреннивина*. Он молчит и выдувает воздух из ноздри. Я затаил дыхание: больной дурачок, болтающийся у него в охапке. Мы приближаемся к туну** и изгороди. Очки у меня на носу съехали на сторону. Сквозь них в мое поле зрения со скрипом вползает хутор: беленый каменный дом на грязном цоколе, крыша ржаво-рыжая, с дымоходом, а из него прозрачный голубой дымок. Во дворе, насколько я вижу, никаких механизмов нет, позади какие-то развалюхи, сарай у столба, на туне неподалеку расстелены копны сена. Хутор стоит на специально устроенном возвышении довольно свежего вида. Новостройка? Да не все ли равно! Озеро за домом скрылось из виду. На нем я видел двух лебедей, а в остальном кто-то забыл поместить в эту долину птиц. А может, они, родимые, все улетели. Как я их понимаю!

Собака проходит сквозь изгородь, словно призрак, и спешит к копне сена, обегает вокруг нее один раз, разумеется, чтоб проверить, не притаился ли в ней снайпер. А затем с лаем мчит обратно.

Я стараюсь не смотреть в лицо этому человеку. Только слушаю дыхание, вырывающееся из его ноздрей, и временами украдкой поглядываю на них. У меня нарастает беспокойство по поводу табачной капли, постепенно набрякающей у него на переносице. Вот будет весело, когда она упадет мне на жилет или пиджак!

* Бреннивин — крепкий исландский алкогольный напиток, выгоняемый из картофеля.

** Тун — на исландских хуторах сенокосный луг перед жилым домом или вокруг него.

Ну и влип же я! Но, черт возьми, должны же они были меня хватиться! Да. Конечно, за мной заедут. Хельская долина? Не помню, чтоб я о ней раньше слышал, разве что в каких-нибудь адских виршах. Но не означает же это, что я умер? Сражен ангелом смерти, и теперь влеком в ад посланцем сатаны? «Ты из богадельни?» — спросил он так же равнодушно, как рассыльный спрашивает о содержимом посылки, которую ему вручают. Ей-богу, у него в глазах был какой-то дьявольский блеск! Каким странным инеем подернут его глаз, обращенный ко мне! Когда хуторянин делает последние шаги до изгороди со мной на руках, я разглядываю его лицо. В этой густой рыжей бороде такое разнотравье. Свежескошенная трава, кормовые травы, силос? В его бороде кончики у волос седые, но чем ближе к коже, тем больше они набирают рыжину — и уходят в толстую, туманно-белесую кожу, где пускают корни в голубых жилках. Из холода ты вышел... В этих глазах не отражается никаких печей. Да-да... Все ясно. Я отправляюсь в Хель.

Да. На вид ему лет пятьдесят.

— Папа, я тебе подержу! Он не может идти? Не может идти, потому что такой старый. Папа, дай я подержу! Я подержу!

Мальчик просто вне себя от радости. Видимо, здесь гости бывают редко. Он придавливает вниз колючую проволоку изгороди, чтоб отцу было удобнее перелезть, а тот слегка покачивается со своей ношей, когда становится по другую сторону изгороди обеими ногами. Я не свожу глаз с табачной капли... нет, она удержалась. Собака мчится по туну к дому по неопишимо сложной траектории. С воздуха это, разумеется, выглядит как что-то весьма мудрое, символистское для наших усопших мистиков, все еще следящих за земной жизнью. Разумеется, из этого можно было бы вычитать очевидное объяснение того, как я попал сюда. Да-да. Этой малютке есть что сказать! Под сапогами хуторянина слышно, какие у травы упругие корни.

Света стало меньше.

И тут появляется запах. Аромат. Великолепный запах навоза. Он напоминает мне Париж. Да, напоминает мне Париж. Возле конюшен за больницей на Рю-де-Дье, в которых стояли уставшие

за день от иноходи полицейские лошади, я вновь ощутил запах из детства. В большом заграничном городе, на улице с божественным названием, мне открылся тот роман, который я вынашивал... как же он назывался-то? Распахнулась навозная куча детства. Запах навоза — всемирный! Ох уж этот комплекс неполноценности исландцев! Мне надо было съездить в Париж, чтоб снова обрести в самом себе исландский хутор! А потом я целых шесть недель сидел и писал в трехзвездочном отеле в Барселоне, и моя голова была наполнена запахом навоза. Чем дальше уезжаешь, тем ближе становишься к себе. Чтоб писать о жухлой траве в родном краю, надо переехать через реку.

Ах да, Париж. Вот я и начал вспоминать. Барселона. Или это была Болонья? Я пишу, да, писал книги. Скоро я все вспомню. Со всего уже спадает завеса. Наверно, скоро в памяти всплывет и имя моей подруги жизни, и причина, по которой меня бросили на улице в преклонном возрасте, да еще и в «самый благополучный период в истории Исландии». Ей-богу!

— Папа, я скажу бабушке, чтоб блинов напекла? А, папа? Я пойду, скажу ей, чтоб блинов напекла!

Мы вошли во двор — а вот и она: навозная куча перед плохо выстроенным бетонным хлевом. Эти «возвышения», на которых стоят исландские хутора, — просто тысячелетние засохшие навозные кучи. Мы воздвигаем свои жилища на навозе. Как же называется этот хутор? Он несет меня к дому (карканье ворона — ну да), и за угол: там пристройка, а у порога валяются обглоданные кости: хребет пикши, ягнячья нога, а скоро к ним, конечно, прибавится и моя щиколотка. Собака осматривает свою коллекцию костей и убеждается, что там все на месте. И все же она скулит у лоснящихся штанин хозяина и просит дать ей погрызть новых костей. Я отношу это на свой счет. Что ж, псу под хвост я еще го-жусь! Хотя кто знает, может, эта собака привереда и не ест мяса паралитиков.

Хуторянин Хроулв без слов плюхает меня в какое-то деревянное сооружение — насколько я могу догадываться, самодельную тачку, — а потом подходит к сараю, наклонившемуся к единственному

столбу электропередачи в дальнем конце двора, и скрывается в нем. Прибегает собака и нюхает мне ноги; я чувствую холодный мокрый нос на голых лодыжках. Нет, наверно, ей как раз мясо паралитиков нравится. Я бы сейчас все мои произведения отдал за пару носков! Как же это комично: такой почтенный пожилой человек в шерстяном английском костюме-тройке бледно-коричневого цвета лежит в тачке на дворе незнакомого хутора без носков в начищенных до блеска лондонских туфлях! К счастью, единственный свидетель этого — собака, а потом и она скрывается в сарае.

За постройками посверкивает озеро, и по левую руку невдалеке виднеется какая-то фантазмагория, которую с большой натяжкой можно назвать хозяйственной постройкой. Гора за озером — единственное, что в этой убогой долине полностью оправдывает свое название, а ее вершина тронута сединой. Небо по-вечернему серое. Кар-кар.

Ну да — «тронута сединой»! Вот я тут лежу, мне скоро стукнет девяносто, а я еще не отвык от пафосных эффектов. Пейзажи в романах всегда слишком переоценивали. Те, кто не умеет рассказывать людям о людях и про людей, — те заводят читателя в болото и там долго валяют его в болотной руде. Пока он по уши не испачкается в этих «описаниях природы». В исландских сагах нигде не упоминается закат, и всего четыре раза на протяжении этих тысячи шестисот телячьих кож герою становится холодно. Бездуховность стремится на пустоши, поэзия — в населенные места, ведь она — про людей. Мысль о том, что в искусстве речь может идти о чем-то, кроме человека, в истории нова: вся эта живопись, в центре внимания которой — «живописное полотно», театральные постановки «о пустоте» да музыкальные композиции, посвященные «систематическим возможностям гаммы»! Стихи, которые, похоже, сочинял печатный станок, и романы, где все действие происходит в одной комнате! То есть оно бы там происходило, если б в этой комнате кто-то был! У каждого времени свои причуды. У нашего времени это была абстракция. Ворчливая вдова фашизма. Она стала разрешать себе то, что ей когда-то запрещал этот старый черт: покупать что-либо кроме образцов фигуративного

искусства, — но с фанатизмом, усвоенным от него. Абстракционизм — человеконенавистническая ортодоксия, не терпящая никаких отклонений. А я гуманист. Да что — этот мужик проклятый меня на всю ночь оставил здесь куковать?! Ну что он там в сарае копается! Во дворе полный штиль.

Ах, я все еще говорю себе то, что сам знаю.

Описания природы — это специи, используйте их экономно. Одними специями никто не ужинает. Так сказал Борхес. Или не Борхес? Да, он. На лекции в Принстонском университете. Я и двое других зрелословных ораторов в обрывистом зале среди наглой докучливой — как раз в духе тех времен — молодежи, которая твердо вознамерилась заткнуть старику рот чем-нибудь эдаким революционным. А слепой мэтр видел их насквозь: нарядившийся в десятикарманную одежду, и в каждом кармане — по целому веку, и когда он сидел за круглым столом, он был одной высоты со своей тростью с серебряным набалдашником, словно папа римский. И вот папа простирает дрожащую руку и изрекает тихим исцарапанным голосом: «Писатель должен быть тактичен. Он не должен козырять странными словечками или другими стилистическими эффектами, чтобы привлечь читателей». Я принял это к сведению. Честно признаться, я принял это к сведению. Но кто такой Борхес — просто скрюченный книжный червь, который прогрызает книги от доски до доски, а в перерывах плюется чернилами? И плевки у него крохотные. Пишет всего только стихи и рассказы. Ишь ты, стихи и рассказы! Задание для школьников! А рассуждать берется обо всех больших произведениях, о Шекспире, об исландских сагах... По отношению к собственным произведениям автор слеп.

Он покори́л их умы, старый папа римский: по окончании лекции студенты столпились вокруг него, а я вместе со своей шляпой вышел на улицу. Я рано взял себе принцип ни перед кем не расшаркиваться. Вот оно — объяснение, почему в последние годы меня окружали одни лишь распускатели перьев. Лишь люди без способностей пресмыкаются перед признанными талантами. А другим гордость велит трудиться не покладая рук, пока не опустеют троны.

А сейчас мой трон — тачка на хуторе. Интересно, заберут ли меня до завтра? Отсюда никакой дороги не видно. Хотя нет: какая-то жалкая стежка тянется на тун, в ту сторону, откуда пришли мы, но ближе к озеру. Темно-серые небеса отступают за горные вершины. Скоро они склонятся в траву перед всепобеждающей темнотой. Их слезы впитает почва: дождь — это небесные похороны. Да... По-моему, в воздухе сгущается морось. Из сарая доносится какое-то «бр-р», я так и продолжаю лежать здесь: худой как щепка щеголь в парадных туфлях и с двумя соединенными моноклями: как Джеймс Джойс, которого отправили не на тот адрес.

С каждым карканьем мгла сгущается. Ворон, родимый! Моя старая добрая птичка! Только вот темноты в нем многовато... Да, а потом я вышел на улицу, точнее, на авеню. Нью-Йорк — 1967. В этом городе я всегда был немного испуганным. Почему-то я все время представлял себе: вот с каждого небоскреба прыгает по человеку, и один — прямо мне на голову. США — страна личной инициативы. Люди или сами себя убивали, или нанимали кого-нибудь для этой цели. В отличие от Старого света, где умерщвлением людей занимались власти, организованным и безупречно этичным образом — в США вмешательство властей в такие дела было сведено к минимуму. Кажется, в этих джунглях первобытных инстинктов невозможно было обезопасить себя от смерти. И в тот день тоже: сейчас я это помню. Тогда был католический праздник: праздник мертвых. Посередине Девятой авеню понесли статую Девы Марии, и за считанные минуты все заполнилось народом. Мимо прошел духовой оркестр с чудовищным шумом, маленькие дети в масках мертвецов и девушки испанского происхождения с пятнами на щеках. Были вороновые капюшоны на фламинговых платьях. Гарлемские розы. Какие же они были красавицы — и танцевали танец с кастаньетами в пышных красных платьях, и одна смотрела мне в глаза своими черными глазами-оливками, которые говорили: «Помни меня после смерти!» «Помни меня после смерти!» — с испанским акцентом. Многими годами ранее я видел ее в маленькой деревушке на юго-востоке Испании — девушку с другим именем, но теми же глазами на том же празднике: самую красивую